

собиратель рая

Евгений
ЧИЖОВ

новый роман
автора бестселлера
“ПЕРЕВОД С ПОДСТРОЧНИКА”



” Нет ничего смешнее,
чем пытаться
быть оригинальным
перед лицом смерти. ”



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Проза нашего времени (АСТ)

ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ

Собиратель рая

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Чижов Е. Л.

Собиратель рая / Е. Л. Чижов — «Издательство АСТ»,
2019 — (Проза нашего времени (АСТ))

ISBN 978-5-17-117443-9

Евгений Чижов – автор книг “Темное прошлое человека будущего”, “Персонаж без роли”. Предыдущий роман, “Перевод с подстрочника”, вошел в шорт-лист крупных литературных премий и удостоился премии “Венец” Союза писателей Москвы. “Собиратель рая” – о ностальгии. Но не столько о той сентиментальной эмоции, которая хорошо знакома большинству людей последних советских поколений, сколько о безжалостной неодолимой тяге, овладевающей человеком, когда ничто человеческое над ним более не властно и ни реальность, ни собственный разум его уже не удерживают. Это книга о людях, чья молодость пришлась на девяностые; о тех, кто разошелся со своим временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем мать, ушедшую от него в прошлое.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-117443-9

© Чижов Е. Л., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Часть I	6
Часть II	20
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Евгений Чижев

Собиратель рая

*Так мы и пытаемся плыть вперед,
борясь с течением, а оно всё сносит и сносит
наши суденьишки обратно в прошлое.*

Ф.С. Фицджеральд.
Великий Гэтсби

*Dem Tod gegenüber originell sein zu wollen – lächerlicher konnte nichts
sein.*

M. Walser.
Die Verteidigung der Kindheit¹

*Действующие лица и события книги выдуманы автором. Любое сходство с живыми либо
умершими людьми является случайным.*

Часть I

1.

Она свернула за угол и пошла по залитой белым зимним солнцем улице. Солнечный свет лежал на лице слабым теплом, и встречному холодному ветру не удавалось сдуть его – тепло укрывалось в глубоких морщинах и порах ее дряблой кожи, она чувствовала его и улыбалась. Идти было легко, она давно уже не испытывала при ходьбе такой легкости, как будто не только зимнее пальто, но и само ее грузное, обычно быстро устающее тело утратили в этом рассеянном свете часть своей тяжести. На перекрестке она повернула так, чтобы и дальше идти по солнцу, потом, когда новая улица кончилась, свернула еще раз и задумалась: “Куда теперь?” Блочные дома вокруг, беззвучно сверкающие стеклами, не то чтобы выглядели вовсе незнакомыми, но они все теперь так похожи – поди разбери, те, не те.... Она прошла еще немного наугад из одного только удовольствия движения, надеясь, что дорога сама выведет ее куда надо, потом все-таки решила спросить. Но встречных не попадалось, вообще прохожих было мало, какой-то безлюдный район, как будто и не Москва вовсе... Или в рабочее время здесь всегда так? Хотя сегодня ведь, кажется, выходной... Тогда какой: суббота или воскресенье? На этот вопрос ответить она не могла, но после минутного размышления отбросила его: какая разница, не на работу же ей завтра, вечно она отвлекается на вещи, не имеющие никакого значения! Наконец увидела группу подростков у подъезда: парни в разноцветных шарфах болельщиков, девочки, подошла к ним и обратилась с той доверчивой и слегка театральной интонацией, которая, она знала, всегда располагает к ней людей:

– Молодые люди, не могли бы вы мне подсказать, как здесь выйти к проезду Художественного театра?

– Куда-куда?

Подростки обменялись взглядами и ухмылками. Она повторила вопрос, стараясь улыбаться так, чтобы на эту улыбку нельзя было ответить отказом. Но прыщавая девица на высоких каблуках, презрительно пожав плечами, ответила за всех:

– Без понятия.

А ее приятель, как будто бы и так не было ясно, что они ничего здесь не знают, добавил:

– Такого у нас тут нет...

Она пошла дальше, возмущенно думая о том, что у молодых спрашивать бесполезно, у них теперь в головах одно неприличие, сами не знают, где живут. Но возмущение быстро улеглось: не хотелось думать о пустяках под этим полнеба залившим сиянием такого редкого зимой солнца, отражающегося в окнах домов и стеклах машин у обочины; взгляд терялся в размноженном холодном блеске; она еще пару раз спросила дорогу у встречных женщин и, поскольку ни одна ей ничего толком не объяснила, перестала об этом беспокоиться. Скоро уже весна, тепло света на лице безошибочно говорило ей, что ждать осталось недолго. Как скоро? Ну, скоро, ясно же, что такое солнце может быть только перед весной (так она ушла от мелькнувшего было неудобного вопроса, какой сейчас месяц). А год? Вслед за месяцем врач обычно спрашивает у нее, какой у нас год, и она всегда (ну, почти всегда) с легкостью ему отвечает. Она и сейчас, конечно, помнит, просто не хочет на этом сосредотачиваться. Так ли это в самом деле важно? Недавно ведь отмечали этот... как его? Странное нерусское слово, заканчивающееся не то на “ом”, не то на “ум” – ничего удивительного, что она его забыла, никогда же раньше в русском языке такого слова не было! Понапридумывают новых слов и хотят от нее, чтобы она их все помнила! В общем, переход из одного тысячелетия в следующее.

В третье тысячелетие! Думала ли она в детстве, в довоенной еще Москве, что будет идти по ней в начале третьего тысячелетия?! Нет, конечно, не думала и думать не могла! А вот идет себе, как ни в чем не бывало, идет... только куда она идет?

Наконец повстречался мужчина того типа, который всегда ей нравился: представительный, но интеллигентный, в кожаном пальто и очках. При виде его она тут же вспомнила, что ищет проезд Художественного театра, и он сразу всё ей объяснил – такие мужчины неизменно выручали ее в нужную минуту, – правда, его ответ ее озадачил. Оказывается, надо ехать на метро в центр города. Значит, она и сюда приехала на метро? Как иначе она могла попасть из своего дома в проезде Художественного театра на эту безлюдную окраину? Но поездки на метро она почему-то совсем не запомнила. Она знала, что с ее памятью что-то происходит, и началось это, кажется, уже довольно давно, но вот помнила же она наизусть свой телефон – она мысленно произнесла его, старательно проговаривая про себя каждую цифру, – а метро куда-то бесследно улетучилось из ее головы. “Марина, меня зовут Марина”, – с расстановкой произнесла она без голоса, как обычно делала на всякий случай в минуты растерянности. (Не то чтобы она всерьез боялась забыть свое имя, но все-таки... чего не бывает.) А вредная соседка Галка звала ее Марина-мина. За взрывчатый характер, какой у нее был в детстве. Помнит же она и Галку, и ее старшего брата, и жакет, подаренный ей отцом, и как Галка им хвасталась... А такую ерунду, как поездка на метро, и запоминать ни к чему. Она с удовольствием глубоко вдохнула нехолодный воздух и пошла к ближайшей станции, как показал ей мужчина в очках. Его объяснения, правда, уже успели выветриться из сознания, но общее направление она помнила верно.

Когда Кирилл вернулся с рынка, матери не было. Беспокоиться было еще рано: она не раз, случалось, задерживалась на своей ежедневной прогулке, зайдя в магазин или просто забыв о времени, несмотря на часы на руке. Правда, начинало смеркаться, это должно было напомнить ей, что пора домой. Она уже несколько раз терялась, но обычно кто-нибудь помогал ей найти обратный путь, хотя однажды Кириллу все-таки пришлось самому разыскивать ее на ночь глядя. Тогда, в начале зимы, он нашел мать на скамейке в четверти часа ходьбы от дома, отсутствующе глядящую на летевший под фонарем снег. Сказала, что устала, присела передохнуть. Сколько она просидела на этой скамейке, десять минут или три часа, за которые Кирилл, высунув язык, вдоль и поперек обрыскал чуть не весь район, дознаться у нее было невозможно: время текло для нее иначе, по-своему, и три часа, проведенные, глядя на снег, могли быть короче десяти минут. Смотреть на часы она не любила, а если и смотрела, то очень скоро забывала увиденное. Судя по снежным горкам, скопившимся на пальто и высокой меховой шляпе, напоминавшей шапку английского королевского гвардейца, несущего караул у Букингемского дворца, она пребывала в неподвижности уже довольно долго. Если бы Кирилл отыскал ее еще на час позже, мать бы всю занесло снегом, и скорее всего, даже не заметив этого, Марина Львовна могла бы превратиться в один большой сугроб. “Тут очень красиво”, – виновато сказала мать так, как если бы это нелепое, беспомощное “красиво” было оправданием, разом снимающим все вопросы. Он резко дернул ее за руку, точно надеялся этим рывком вернуть ее в чувство, и, ни слова больше не говоря, потащил за собой к дому. “Я иду, иду, – говорила Марина Львовна, – не нужно меня так тянуть!” Но Кирилл специально шел большими шагами, чуть не выдирая ей ладонь из запястья, чтобы она едва за ним поспевала, задыхалась и с шумом отдувалась на ходу, – должен же он был хоть как-то ее наказать!

Теперь у него был в запасе еще час, от силы полтора до наступления темноты. Если за это время мать не вернется, придется снова отправляться на поиски. А пока можно было перекусить – с утра во рту ни крошки, кроме кислого кофе с коржиком в кафе на рынке, – и разобрать сегодняшние приобретения. Кирилл поставил на плиту сковороду с картошкой, развязал рюкзак и стал выкладывать из него на стол вещи. Сначала из рюкзака появились пара потемнев-

ших медных подстаканников, номерок гардероба ресторана “Арагви” и грампластинка Зары Долухановой; к ним присоединились немецкая губная гармошка, зажигалка-патрон и канареечно-желтый стилижный галстук с силуэтом Манхэттена; последними с самого дна возникли металлическая рюмка с надписью “За победу”, футляр неизвестного предназначения и набор открыток с фотографиями актеров довоенного кино. Всё это было куплено за гроши на барахолке, где Кирилл был завсегдатаем и проводил там почти каждые выходные. Часть этих вещей будет обменяна, другая – подарена, наконец, третья сразу попадет в одну из его многочисленных коллекций: Кирилл собирал всё.

Ну, или почти всё. Антиквариат, изделия известных мастеров, дорогие вещи, с самого начала предназначенные для украшения жизни, его не интересовали и, если подворачивались, обычно сразу шли на перепродажу. Кирилл знал в них толк и умел на них зарабатывать благодаря связям в кругах серьезных людей, ищущих, во что вложить деньги, но весь его собирательский азарт был направлен на другое: на вещи заурядные, ширпотребные, которые никто подолгу не хранил, поэтому уцелеть они могли лишь случайно, забытые в темных углах кладовок или антресолей. Вся их ценность заключалась в накопленном ими времени и в аромате эпохи, сохранявшемся в них гораздо лучше, чем в антиквариате. Кирилл любил утилитарные вещи, утратившие свое назначение и смысл, и приносил домой вороха навеки вышедшей из моды одежды, монеты исчезнувших государств, марки давно не существующих стран, кокарды разбитых армий, погоны без шинелей, пуговицы без кителей. Он обладал одной из крупнейших в Москве коллекций трамвайных билетов, представительным собранием печатных машинок, бесчисленным количеством переживших своих хозяев шляп, зонтов и прогулочных тростей, с которыми часто появлялся на рынке, а иногда, под настроение, и на улицах. Кирилл считал, что вещи не должны залеживаться, их надо показывать, а некоторым, прежде всего носильным, даже можно подарить новую жизнь, если надевать их самому и давать пользоваться друзьям и знакомым. Он называл это “дать вещи подышать”: плащ (пальто, галстук, шляпа) не должен пылиться в темноте шкафа, он должен дышать свежим воздухом. Многие его находки кочевали из рук в руки, переходя от одних знакомых к другим, и не всегда к нему возвращались, но Кирилла это обычно не расстраивало – он с готовностью отдавал любой предмет из своей коллекции, видя, что человеку он подходит. Легкость расставания с вещами служила для него залогом новых находок. Встречая потом знакомого, а бывало, что и вовсе не знакомого прохожего в одной из найденных им вещей, он глядел на него как на дело своих рук.

Впрочем, на рынке незнакомых для него не было. Там он знал всех продавцов и всех покупателей, знал, кто чем интересуется и что ищет, потому что любой, кто приходил на рынок не случайно, не просто потолкаться среди людей и поглядеть, был рано или поздно ему представлен и выслушивал от Кирилла совет, почти всегда разрешавший его проблему. Не зря же среди других завсегдатаев барахолки Кирилл получил прозвище Король.

Кирилл Король – это звучало хорошо, убедительно, главное, неслучайно. Как будто Марина Львовна специально назвала сына так, чтобы переменой одной только буквы его имя превращалось в кличку, носить которую он сможет с гордостью, пусть речь и шла всего лишь о короле барахолки. С присущими королю небрежностью и властностью он определял удел своих подданных – на рынке у него была целая свита из учеников, поклонниц и подражателей, – даря им или давая в обмен вещи, исподволь менявшие их судьбу, поскольку человек в брюках полпред и ботинках джимми совершенно иной, чем человек в двубортном драповом пальто и кепке-лондонке. Обыкновенные вещи, пережив свое время, становились необыкновенными. Они уже обладали сильной судьбой, спасшей их от бесславной гибели на свалке, выделившей из тысяч точно таких же и отдавшей в руки Кирилла. Сплетаясь с находившейся в начале, еще по-настоящему не определившейся судьбой новых владельцев, они не могли не повлиять на нее – Король знал об этом как никто.

Большая часть его коллекций хранилась дома; то, что не поместилось, – в оставшемся от отца гараже во дворе (отец умер, его разбитый “Москвич” Кирилл продал на запчасти, поиграв немного с мыслью начать собирать старые поломанные машины). Две из трех комнат их с матерью квартиры до потолка были заставлены вдоль стен чемоданами и коробками, саквояжами и ящиками, а на всех стульях, столах и диванах лежали вещи, ждущие чистки или ремонта. Во всем этом был одному Кириллу ведомый порядок, но Марина Львовна постоянно его нарушала, беря заинтересовавшую ее вещь и бросая потом где придется.

– Сколько раз я говорил: не брать! Не брать! Ничего моего не брать!

– А я и не брала, – неизменно отвечала Марина Львовна. – Даже пальцем не трогала! Я и не захожу к тебе никогда, когда тебя нет.

– Да?! А как же брюки из моей комнаты оказались на кухне? Сами прилетели? Стоит мне уйти из дома, как у нас тут брюки из комнаты в комнату летать начинают! Удивительные дела!

Но мать намертво стояла на своем, переубедить ее было невозможно, очевидность ничего для нее не значила. С возрастом к ней вернулось непобедимое детское упрямство, с каким двоечница у доски твердит, что учила урок. (Хотя Марина Львовна никогда не была двоечницей, наоборот, была отличницей.) Говорить ей, что она могла взять вещи и забыть об этом, было бесполезно.

– Это не я забыла, это ты забыл! Это не у меня провалы в памяти, а у тебя!

Это был тупик. Окончательный тупик. Если из двух человек один здоров, а другой болен, то каждый может считать больным другого, и установить, кто из них прав, не прибегая к помощи со стороны, нет ни одного шанса. Больше того, в споре обычно побеждает больной, потому что болезнь сильнее здоровья. Здоровый может менять тактику, может идти на уступки – больной стоит насмерть. И отступать ему некуда, только в смерть.

За окном всё заметнее темнело, солнечный свет исчез без следа, оставив после себя только ощущение глубины в тускло-синем небе и гаснущий малиновый отсвет на обращенном к закату торце многоэтажного дома вдали над горизонтом. Кирилл был почти уверен, что мать сейчас смотрит откуда-нибудь на этот одиноко пылающий торец и, начисто забыв о времени и о том, что он ждет ее, думает: “Красиво...” Он ненавидел это ее идиотическое “красиво”, последнюю оставшуюся ей реакцию на надвигающийся непостижимый мир, угрожающий затопить ее с головой. Больше сказать ей было нечего. Кирилл окончательно понял, что с ней всё гораздо серьезнее, чем просто возрастное ослабление памяти, когда она начала приносить из почтовых ящиков пачки рекламных буклетов и выкладывать их на стол перед ним с тем же бессмысленным объяснением: “Посмотри, какие красивые!” Он собирал их и без лишних слов выкидывал в мусорное ведро. Марина Львовна принимала это безропотно, как почти всё, что он делал: “Тебе не нравятся, да?” – и через несколько дней приносила новую пачку.

Тогда она еще работала, уходила рано утром и возвращалась вечером и происходившее с ней не бросалось в глаза. Она была юрисконсульт, всей душой любила толстые книги кодексов и комментариев, помнила сотни законов и решений арбитража и если в быту всё больше забывала, то объясняла это тем, что столько всего приходится хранить в памяти по работе. Но потом настали времена, когда законы начали быстро меняться, и оказалось, что усвоить новое ей не под силу. Она стала забывать имена клиентов и названия организаций, приходилось всё записывать, но записи терялись и путались, ее выступления состояли теперь из бесконечного мучительного поиска в записных книжках; ей предложили пойти в отпуск, немного отдохнуть, но, когда срок отпуска истек и Марина Львовна хотела вернуться, оказалось, что ее ставку сократили. Она не стала возмущаться и, кажется, даже не удивилась, спокойно приняла новость к сведению, но уже через неделю совершенно искренне всем рассказывала, что ей просто продлили отпуск и скоро она вновь выйдет на работу. С тех пор прошло уже больше четырех лет, но она всё еще ждала окончания своего отпуска и по-прежнему была уверена, что

вот-вот приступит к работе, – ее время остановилось, застряло на месте, застыло в монолит, из которого ей было уже не выбраться.

Оставшись без привычного дела, Марина Львовна растерялась. Вся ее жизнь строилась вокруг работы; теперь, не зная, чем заняться, она ходила по комнатам, подолгу смотрела то в одно окно, то в другое, брала в руки разбросанные повсюду незнакомые вещи, разглядывала, пыталась их вспомнить. Окружающее становилось всё менее понятным, и единственным способом сориентироваться в нем было найти или создать опору в прошлом, поэтому Марина Львовна то и дело говорила Кириллу, что принесенные им с рынка вещи принадлежат ей, она отлично их помнит, сама покупала – она с уверенностью называла год, цену, место покупки или утверждала, что их подарил ей отец Кирилла. Ему оставалось только удивляться, с какой легкостью ее ум, всё с большим трудом справляющийся с настоящим, находит для любой вещи историю в прошлом. Иногда он предлагал ей примерить какую-нибудь вещь, которую она считала своей, та, конечно, трещала по всем швам, налезая на Марину Львовну: мать была женщиной крупной, располневшей с годами. Она не сдавалась, упорно, выдохнув воздух, втискивалась в платье или блузку, утягивала себя поясом, застегивала на грозящие оторваться пуговицы, оправдывалась:

– Что ж ты хочешь?! Я ведь уже не та, какой была раньше! Когда стоило мне выйти на каблуках – и мужчины оборачивались мне вслед.

– Ну ладно, ладно, – говорил Кирилл, когда ему надоедало смотреть, как мать пыхтит, пытаясь влезть в одежду с барахолки, – верю я тебе, верю, что это твое. Кончай уже, а то всё порвешь.

Ему было в равной степени неприятно и то, что она уже “не та”, и то, что мужчины – он представлял их непременно грузинами в усах и кепках-аэродром – оборачивались вслед. В альбоме ее фотографий было немало снимков, где она была “та”, сделанных в Сухуми или Гаграх на фоне каменных ваз, фонтанов, черной сверкающей зелени или блеклого от слепящего света моря. Везде мать была не одна, а в окружении друзей (некоторые мужчины действительно были в усах, в белых отутюженных брюках, пиджаках, парусиновых туфлях) и подруг, было видно, что между ними простые, легкие отношения, что принимать дружбу и мужские ухаживания для матери привычно. В открытом и летнем, в панаме или шляпе с полями, уже тогда обнаруживающая первые признаки полноты, но и не думающая этого стесняться, на каждом снимке, словно перевыполняя просьбу фотографа, Марина Львовна улыбалась. Она знала, что улыбка идет ее правильному, немного тяжеловатому лицу с крупными красивыми чертами, и охотно ее демонстрировала. И на выпускном вечере в школе, и на студенческом балу, и на Первомайской демонстрации, и на субботнике, и на Фестивале молодежи и студентов. Лицо менялось, тяжелело, появились морщины, потом дряблость, очки, крашенные волосы, но улыбка, казалось Кириллу, оставалась неизменной. Он вглядывался в снимки, где мать с держащими ее под руки двумя молодыми мужчинами идет по улице Горького (Фестиваль пятидесят седьмого) или бодро вышагивает на майской демонстрации, и читал на ее лице даже не ее личную, а общую коллективную радость и молодость. Он всматривался до полного погружения, до того, что начинал морщиться от заливавшего эти снимки избыточного света, ощущая глубину остановленного мгновения, его насыщенность и цельность. Прошлое обладало для Короля завершенностью, полнотой, стилем, формой – всем тем, чего лишено было настоящее, и в этой завершенности было куда достовернее и убедительнее.

В настоящем, в своем неподвижно застывшем настоящем, Марина Львовна так же охотно улыбалась и даже смеялась с той же готовностью, что и прежде. Но теперь ее улыбка скрывала растерянность, незнание, что сказать и как поступить, а смех пытался представить шуткой то, в чем ничего смешного не было. Когда после многочасовых поисков Кирилл находил ее паспорт в холодильнике под морозилкой или медицинскую карту в коробке с печеньем и кричал: “Зачем ты это туда засунула?!”, она залиvisto смеялась в ответ. Смеялась тому, что сама не

знала – зачем, ведь это же смешно, правда? Всё происходит само собой, документы и нужные бумаги обнаруживаются в самых неожиданных местах, жизнь полна сюрпризов – разве это не забавно? Но он не видел в этом ничего забавного, и тогда ее смех сразу, без паузы, переходил в слезы, лившиеся так обильно, точно текли не из глаз, а всё ее мясистое морщинистое лицо разом взмокало, выделяя их изо всех своих пор, как губка. Кириллу становилось стыдно своей несдержанности, он начинал утешать мать, и Марина Львовна, продолжая хныкать и шмыгать носом, все-таки улыбалась.

Это повторялось снова и снова. Мать по десять раз на дню спрашивала, какое сегодня число или день недели. Ей хотелось общаться, разговаривать, не быть одной, других вопросов придумать она не могла, а ответы Кирилла забывала, едва услышав. Или, бродя по квартире, бормотала себе под нос, но так, чтобы он слышал: “Откуда-то сквозит... А откуда – не знаю... Какой холодный февраль!” Он раз, другой и третий называл ей число и день недели, уверял, что заклеил все щели и ниоткуда сквозить не может, Марина Львовна соглашалась: да, старым людям всегда холодно, но уже через час опять принималась жаловаться на сквозняки. От этих повторений собственные ответы начинали казаться Кириллу небывшими, он увязал в остановившемся времени матери, и единственным способом высвободиться из этого на глазах застывающего вокруг него безумия было сорваться и наорать на нее. Потом снова были рыдания, раскаяние, утешение, примирение, ее размокшая вымученная улыбка.

– Извини, ну, извини, я не хотел кричать, голос сам сорвался, так бывает... Прости, это случайно вышло...

– Да, случайно... *(Всхлип.)* Бывает... *(Всхлип.)* Я так и думала...

Однажды Кириллу пришла мысль, что если бы за окнами их квартиры находился стрельный полигон, где каждый час кого-нибудь ставили бы к стенке, то и тогда анестезирующая сила повторения через несколько дней или недель заставила бы его вместо жалости к казнимым испытывать только раздражение от их криков.

Забывчивость Марины Львовны производила впечатление глубокой сосредоточенности на чем-то чрезвычайно важном, в сравнении с чем всё остальное не имеет никакого значения. Ее рассеянность проистекала, казалось, из того, что одни и те же неотступные мысли вращались по кругу в ее голове, не позволяя отвлекаться ни на что другое. О чем она думала, стоя у окна с холодным снежным отсветом зимнего дня на напряженно застывшем лице или сидя на диване с книгой, открытой на одной и той же странице, даже не пытаясь делать вид, что читает? Кирилл был уверен, что знает: мать вспоминает. Или даже не вспоминает, а мысленно живет в том прошлом, где она была любима, окружена друзьями и поклонниками, танцевала, запрокинув голову с отлетающей волной волос, на студенческом балу или шагала с двумя спутниками, держащими ее под руки, по улице Горького. (Одним из них был ее брат Валентин, уехавший позже в Америку, вторым – будущий муж, отец Кирилла, с которым она тогда только познакомилась.)

С явной целью продемонстрировать Кириллу сохранность своей памяти Марина Львовна много рассказывала ему о временах до его рождения или о тех, которые он не мог помнить, потому что был еще слишком мал. Правда, она была не всегда уверена в последовательности событий: те, что оставили более глубокий след, казались случившимися недавно, а менее значительные отступали вглубь времени, но даже обыденные пустяки с самого дна памяти она видела отчетливо и с радостью извлекала наружу. Зато такое перевернувшее ее жизнь событие, как рождение сына, произошло как будто вчера, ну максимум несколько лет назад, настолько точно она всё помнила, а он вон уже какой стал, на голову выше ее и каждый день ее в чем-то упрекает! Ни о чем его лишней раз не спроси! А был ведь вот таким вот кулечком! – Марина Львовна показывала, каким был Кирилл, и глаза ее сразу же заплывали слезой, а крупный нос начинал подозрительно шевелиться, готовясь всхлипнуть. Она охотно, не жалея подробностей, описывала, каким был Король в младенчестве, как он сучил ножками, пускал слюни, игрался

своими какашками и издавал нечленораздельные звуки. Она предъявляла ему всё это как компромат, словно увешанный соплями младенец, которого Кирилл не мог и не хотел помнить, обнаруживал бессилие его памяти и явное превосходство Марины Львовны. Она пеленала его своими воспоминаниями по рукам и ногам (а ему не оставалось ничего другого, как слушать и соглашаться), словно хотела вернуть его обратно в детство, где Кирилл был беспомощен и целиком от нее зависим, шагу без нее не мог ступить. Теперь всё изменилось, и он часто ведет себя с ней так, будто это Марина Львовна впала в детство, но она-то знает, что в действительности всё осталось по-прежнему, его зависимость от нее никуда не делась, просто он научился ее скрывать.

Первым, что помнил сам Кирилл, был длинный полутемный коридор, выходящий на улицу, на залитый солнцем двор. Этот коридор был не в той квартире, где они жили сейчас, а в другой, где он родился, – мать говорила, она была коммунальной. То, что идущий по коридору к сияющему проему открытой двери человек был гораздо ближе к ребенку, о котором рассказывала Марина Львовна, чем к сегодняшнему Кириллу, подтверждалось размером свисавших со стен вещей: громадных черных корыт, нескольких велосипедов под самым потолком (непонятно было, как они там держатся и почему на него не падают), сумрачных пальто на вешалке у выхода, кажется, только притворявшихся неживыми, а на самом деле стороживших дверь и готовых схватить его своими рукавами, едва он попытается выйти. Затаив дыхание, маленький Король осторожно продвигался к выходу мимо высоченных, уходящих в полумрак потолка дверей в комнаты соседей. С этого коридора он начинался, прежде не было ничего. Шаг за шагом, преодолевая страх, выходил он из темноты чужой – материнской – памяти на свет собственной. Во дворе была песочница с деревянным грибком, к ней он и стремился.

Дальше снова были долгие годы, которые Марина Львовна помнила гораздо лучше его. Чем бесследней скользил мимо сегодняшний день, тем подробнее и резче вставал перед ней давно прошедший. Дача в Кратове, походы за грибами и ягодами, детский сад, куда она тащила сына за руку, а он упирался и норовил с ревом упасть в лужу, – все это, начисто им забытое, было для нее так отчетливо, словно ее память страдала дальноркостью: во всех деталях видела далекие события и не различала близких. Она могла точно сказать, с чего началась одержимость Кирилла коллекционированием – с мельхиоровой ложки, которую в одном из первых классов школы он нашел где-то на помойке, принес домой, отчистил зубным порошком и с гордостью всем показывал. Сперва это ничем, казалось, не отличалось от увлечений его сверстников: почти все что-нибудь собирали, кто значки, кто марки, кто фантики от жвачки. Кирилл выделялся разве что широтой интересов и быстротой их смены, но скоро обнаружилась другая его особенность: уже тогда он предпочитал невзрачное на вид старье новым и ярким предметам. Однажды сменял целую серию разноцветных блестящих марок с африканскими животными, купленных ему отцом, на одну-единственную, такую старую, что у нее даже зубцов не было; отец хотел было наказать его за это, но с удивлением узнал, что беззубая марка, до того затертая, что и не разобрать толком, что на ней изображено, стоит дороже его месячной зарплаты. Одноклассники собирались у Кирилла обычно по выходным и азартно меняли всё на всё, галдя при этом так, что Марине Львовне приходилось то и дело просить их вести себя потише. Но голоса сына она в общем гвалте почти не слышала: пока его друзья, толкаясь, брызгая слюной, покрасневшись от натуги, пытались перекричать друг друга, он молча (иногда Марине Львовне казалось даже, что насмешливо) наблюдал за ними, при этом его мнение в споре, касающемся меновой стоимости любой вещи, уже было решающим. Как-то раз Марина Львовна хотела выбросить доставшийся ей от родителей и вконец развалившийся деревянный ларь с грубой резьбой на крышке. Кирилл не позволил ей, с трудом поднял ларь и утащил к себе в комнату: «Да ты что! Как ты можешь!» У него даже уши покраснели от возмущения. Учился он тогда не то в пятом, не то в шестом классе. Марина Львовна впервые посмотрела вслед сыну, уносящему на тонких ногах громадный в сравнении с его ростом ящик, с удивлением:

“Откуда в нем это?” Ларь по-прежнему стоял у Кирилла в комнате, но историю о том, как он не дал матери его выбросить, он помнил только с ее слов. Очень редко ее рассказы обрастали для него плотью настоящих воспоминаний – когда ее слова вдруг разбухали в памяти, впитывая исчезнувшие цвета, запахи, ощущения реальных вещей, – гораздо чаще они оставались рассказами о ком-то, давно не имеющем к нему отношения. Иногда Кирилл задавался вопросом, как удастся матери совмещать в одно таких далеких, непохожих друг на друга ребенка, школьника, студента, наконец, сегодняшнего его, если каждого из них она помнит до деталей. У него самого с трудом получалось вспомнить ее до болезни – отчасти потому, что привычное, близкое, из года в год не менявшееся запоминается плохо, но главное, конечно, потому, что болезнь проявляла себя слишком резко в десятках бессмысленных движений, повторяющихся фраз, в тревожной опустошенности погруженного в себя лица – от всего этого не удавалось отвлечься. Но однажды обнаружилось, что и Марине Львовне задача соединения в одном человеке разных образов сына дается не всегда.

Был холодный солнечный день, первый раз после долгой оттепели выпал ночью снег, и на кухне, где Кирилл завтракал, было от этого непривычно светло. Он торопился – была назначена встреча с важным клиентом, чей заказ на мебель начала двадцатого века он выполнил, – и не обратил сперва внимания на мать, вставшую возле кухонной двери, только пробормотал с набитым ртом обычное “добрутро”. На ней был темно-синий халат, лицо в резком свете выглядело очень бледным, крупные руки неловко терлись друг о друга: то ли им было холодно, то ли она просто не знала, что с ними делать. В том, что Марина Львовна стояла у двери, вместо того чтобы сесть к столу, не было ничего необычного: Кирилл давно привык, что мать может подолгу наблюдать за ним со стороны, из глубины своего выпавшего из мира сознания, прежде чем попытаться найти повод для разговора. Но когда он оторвался от еды и снова взглянул на нее, что-то непривычное было в ее улыбке. Что-то (он не сразу смог подобрать подходящее слово) заискивающее. Точно хотела заговорить и не решалась. Точно вообще не была уверена, что имеет право стоять там, где стояла, и глядеть на него. Что-то виноватое и оправдывающееся. Но у Кирилла не было времени об этом раздумывать, он просто пригласил ее сесть, взять себе завтрак: всё на столе, хлеб, масло, чай, сыр, бери что хочешь. Она раздумчиво кивнула, но не сошла с места. Кирилл намазывал бутерброд, когда Марина Львовна осторожно спросила:

– Ты ведь мой сын, да?

Тут только он наконец всё понял. Мать перестала узнавать его. Или, может, еще узнает, но не помнит, кто он, видит в нем когда-то и где-то встречавшегося полужнакомого, возможно, совсем незнакомого человека, неизвестно как оказавшегося в ее квартире. И улыбается ему вежливо, но с опаской, как незнакомому. От которого еще неизвестно, что ожидать. При этом понимает все-таки, что в это время здесь может быть только он, Кирилл, ее сын, больше некому, и подозревает свою ошибку (она же знает, что на память полагаться не может), и становится от этого еще неуверенней. Может, это вовсе не ее квартира? Тогда что она здесь делает? Как здесь очутилась? Он чувствовал, что каждое его размеренное движение: намазывание масла, деловитый глоток чая, подтверждая его, неизвестного человека, право находиться на этой кухне, сталкивает ее во всё возрастающую потерянность. И в окончательное одиночество, поскольку он был ее последней связью с внешним миром. Кроме него, у нее никого нет. А теперь, раз она не может его узнать, нет и его. Нож увяз в масле, Кирилл смотрел на мать, пытаясь нащупать прежнюю, помимо всех слов очевидную связь, и не находил ее. Что он должен сделать, как доказать, что он – это он? Как выбраться из ставшей ей за ночь чужой внешности? Как обнаружить в себе того сучившего ногами младенца или того подростка, не давшего матери выбросить полуразвалившийся ларь, которых больше нет, но которых она так намертво запомнила?! Как восстановить единство окончательно отделившегося прошлого и настоящего? Рассказать какую-нибудь старую семейную историю, которую, кроме него, никто не знает? Но, как назло, ничего подходящего в голову не приходило. Да может ведь и не пове-

речь, слова – вещь ненадежная, особенно когда говоришь с больным человеком, живущим в плену больной логики. Подойти, обнять?

Поспешно, едва не опрокинув чашку, поднялся, точно надеялся одним рывком выскочить из незнакомца за столом, которого она в нем видела, в три шага одолел разделявшее их расстояние, обнял, прижал к себе... (Сколько лет он этого не делал? По крайней мере с тех пор, как мать заболела, Кирилл тщательно избегал не только объятий, даже случайных прикосновений.)

– Я это, я, Кирилл, ты что, совсем уже, что ли?! Совсем уже?!!

Он говорил торопливо, пряча испуг, не только для нее, но и для себя, самого себя убеждая, что нет еще, не совсем, потому что если она в самом деле его забыла, то ничего уже не поможет, она вне досягаемости. Как бы далеко не зашел процесс распада в мозгу человека, с которым живешь, этого стараешься, пока возможно, не замечать, делаешь поправку на его странности, но обращаешься с ним как со здоровым, рассчитывая, что он придает словам то же значение и контакт сохранен. Но потом наступает черта, за которой становится очевидно, что происходящее в его голове непостижимо, реакции непредсказуемы, связь нарушена, – больной превращается в инопланетянина, в существо, не поддающееся пониманию. Неужели она уже за чертой?

– Это же я, ну что ты?! Кто еще тут может быть, кроме меня?!

Ее заметно дрожавшая рука шарилась по его запястью, предплечью, спине, словно она пыталась вспомнить его на ощупь, как слепая. Они и в самом деле были так близко, что не видели друг друга. И что-то сработало (полузабытые тактильные ощущения? запахи?), накатившая на мать волна беспамятства отхлынула, чуть отстранившись, она подняла лицо (Марина Львовна была почти на голову ниже высокого сына):

– Конечно ты, кто же еще? Ты что, думал, я тебя не узнала? Как я могла собственного сына не узнать? Смеешься надо мной, что ли?

Пытаясь обратить всё в шутку, она сама рассмеялась в ответ предполагаемому смеху Кирилла (хотя он даже не улыбался), они сели за стол, стали завтракать как ни в чем не бывало. Мать ела с аппетитом, нахваливала мягкий белый хлеб, вкусный сыр, Кирилл думал, что на этот раз, похоже, обошлось. И в этот день, и позже явных проблем с узнаванием больше вроде бы не возникало, но случившегося в то утро было уже не забыть. Он понимал, что рано или поздно это повторится и когда-нибудь, возможно совсем скоро, забвение станет необратимым. Иногда, обычно за завтраком, Кирилл ловил на себе недоверчивый, исподволь изучающий его взгляд матери, замечал ее неуверенную улыбку и чувствовал, что снова под подозрением: он это или не он?

Малиновый отсвет на торце многоэтажного дома над горизонтом сошел на нет, а Марины Львовны всё не было. От заката осталось только тусклое матовое свечение на западе над крышами хрущевок, на которые выходило окно Кирилла на восьмом этаже, – непричастное земле свечение, невидимое с проездов между домами, куда уже вступала ночь. Где-то там, в быстро густеющей темноте, брела мать. О чем она думала, что искала? Не угадать. Уже два часа, как она должна быть дома. Похоже, снова придется отправляться на ее поиски. До чего ж неохота! Кириллу хотелось провести вечер дома, в тепле, разбирая сегодняшние приобретения, “вещички”, как он их называл, а не бродить по темным улицам глухой окраины, где неизвестно еще на что можно напороться. Дам ей еще полчаса, решил он, может, она уже на подходе. И мысленно поклялся себе, что никогда больше не отпустит ее одну без мобильного, – он уже дважды покупал ей телефон, но Марина Львовна так и не научилась им пользоваться, первый потеряла, а второй упорно оставляла дома, боясь, что тоже потеряет. Чем сложнее казалось ей управление устройством, тем большую ценность оно в ее глазах обретало.

Кирилл закончил с ужином и приступил к изучению вещичек. Он часто покупал на рынке, до конца не разглядев вещь: чутье подсказывало ему, что нужно брать. Вещь словно сама окликала его из груды наваленного на прилавке или прямо на земле хлама, привлекала взгляд, и рука тянулась к ней раньше, чем он решал, нужна она ему или нет. В таких случаях он покупал не раздумывая, потому что знал: не возьмет он – возьмут идущие за ним следом, наблюдающие за тем, что он выбирает. Его репутация на барахолке была такой, что другие коллекционеры, а чаще не они сами, а люди, на них работающие, не спускали с него глаз. Было давно известно, что выбранное Королем, даже самое на вид невзрачное, самое никудышное (и даже то, что он только хотел взять, но передумал), не сегодня, так завтра или послезавтра непременно обретет ценность, и они (другие) еще будут локти себе кусать, если немедленно не скупят все похожие вещи, пока они отдаются за бесценок. Репутация эта скоро вышла за пределы узкого круга знатоков, и почти все, кто регулярно появлялся на рынке, присматривались к Королю. Было время, когда он, совершенно к этому не стремясь, сделался настоящим законодателем мод: стоило ему прийти на барахолку в велюровой шляпе, как тут же все велюровые шляпы, какие только можно было найти на рынке, раскупались. Стоило ему надеть кепку-лондонку или плащ-пыльник, и немедленно по всему городу начинали попадаться молодые люди в таких же кепках и плащах. Сам Король относился к своим эпигонам в лучшем случае с безразличием, чаще с презрением – влияние, которое он хотел бы оказывать, не ограничивалось отдельными случайными вещами. Тогда, на пике популярности, у него образовался круг учеников и поклонников (а также преданных поклонниц), не распавшийся и после того, как его местного значения известность одновременно с веселыми девятистами сошла на нет. Этим избранным ученикам Кирилл Король говорил:

– Вы думаете, ваши вкусы и интересы, ваши мнения и ценности в действительности ваши? Ха! Как бы не так! (Или даже “Ха-ха!” – совершенно по-королевски получалось у него это восклицание, так что все, к кому он обращался, чувствовали себя незаслуженно облагодетельствованными его словами.) Вашего в них нет ни на грош! Всё это принадлежит времени, которое вам досталось, живи вы в другую эпоху, всё было бы совершенно иным!

Ученики и поклонницы переглядывались между собой, и по растерянности в лицах можно было догадаться, что они поспешно ищут в голове то, что было бы только их и больше ничьим, и ничего не находят.

– Время – вот абсолютная власть, с которой не поспоришь. Все тоталитарные диктатуры, все фашизмы-сталинизмы в сравнении с ним цветочки! При любой диктатуре можно затаиться, не высовываться, жить своей жизнью, наконец, сбежать из страны – только от времени никуда не убежишь! Хоть под землю заройся, всё равно ты у него на учете. О свободе мог бы всерьез говорить только тот, кто сумел бы опрокинуть или хотя бы обмануть эту власть! Иначе вся ваша свобода – пшик, пустой звук! По-настоящему свободный человек должен был бы иметь такое же право на выбор своего времени, как и на выбор места жительства!

Король излагал эти свои идеи на ходу, идя между рыночными прилавками, иногда задерживаясь, чтобы рассмотреть громоздившееся на них старье, и вся его свита, не отставая, шла за ним. Поклонницы отесняли друг дружку, чтобы быть к нему ближе, не упустить ни одного слова, ученики следили за движениями его рук, перебиравших ветхие вещи одновременно небрежно и чутко, с королевским высокомерием и рассеянной нежностью.

– Дао какой свободе вообще может быть речь, если каждый здесь стоит перед идиотским выбором: между левыми и правыми, черными и белыми, вашими и нашими, а если он хочет быть кем-то третьим, то будет врагом и тем, и другим! Те и другие сочтут его предателем! Нет, единственный шанс свободы – в выходе из своего времени, и этот выход – здесь! – Король широким жестом показывал на заваленные хламом прилавки. – Нужно только уметь его найти. Нужно почувствовать вещь, как концентрат иного времени, которое можно извлечь из нее, как чай из листьев заварки. Нужно уловить связь вещей, их взаимные симпатии, притяжение

друг к другу, их потерянность, их одиночество среди чужих... Правильно подобранные, они могут создать пространство, где сегодняшний день отменяется. А где нет настоящего, там нет и времени, есть только прошлое, продленное в будущее.

Продавцы за прилавками, до которых долетали слова Кирилла, кивали на него друг другу: “Эк заливает!” Все они знали его давным-давно и знали, что для своих он “Король”, но между собой называли его обычно дуриком или придурком – за бритый наголо череп, размашистые жесты, то и дело что-нибудь задевавшие или ронявшие, за все эти трости, галстуки-бабочки и шляпы, в которых он любил красоваться, а главное, за то, что ему можно было впарить такой хлам, какого ни один нормальный покупатель не возьмет. (Зато уж если он брал, то похожие вещи сметались потом по всему рынку.) В том, как продавцы барахолки называли Короля, не было ничего умышленно обидного, напротив, они его любили и часто приберегали для него под прилавком самое, на их взгляд, интересное. Все продавцы, в большинстве своем прокуренные старики и дошлые, прижимистые старухи, приходили на рынок не ради выгоды, хотя и торговались до последнего, а ради самого азарта торговли, из любопытства – на людей посмотреть – и просто чтобы не скучать дома. Король с его наметанным взглядом, точным вкусом, почти всегда неожиданным для продавцов выбором и готовностью бесконечно рыться в старье, по их глубоко скрытому мнению гроша ломаного не стоящем, вносил в их пребывание на рынке им самим не до конца понятный смысл. То, что для них было времяпрепровождением и привычкой, для него было профессиональной охотой за одному ему ведомой дичью. За эту непонятность они его и ценили и старались отложить для него что-нибудь эдакое, в его вкусе (“Смотри, тебе понравится. Кроме тебя, никто ж не поймет!”), чтобы поддерживать с ним особые приватные отношения. Старикам льстила его готовность оставаться с ними на равных, отвечать шуткой на подколку, не обижаться на “придурка”, короче, быть своим в доску (это умение быть своим для всех, от старичья на барахолке до изысканных коллекционеров антиквариата и их высокомерных жен, было одним из талантов Короля), при том, что они отлично понимали: он им не чета, он из совсем другого теста. Даже некоторая скарденность Короля или, скорее, просто умение считать деньги, прикрытое небрежным к ним отношением и демонстративной рассеянностью, было продавцам по душе, делало его понятнее им, ближе.

– Сколько ты за эту рухлядь хочешь? – ощупывая шевиотовый костюм, спрашивал Король у старика за прилавком в очках с одним, зато очень толстым стеклом, в котором его правый глаз выглядел чуть не вдвое больше левого и, казалось, жил своей отдельной жизнью, как рыба в аквариуме.

– Сколько-сколько?! – В ответ на названную продавцом сумму Король вытянул тонкие губы и присвистнул. – Да ты что, Ким Андреич, в таком костюме только в гроб ложиться, смотри, вон и на лацкане пятнышко.

– Да где пятнышко, где?! – На торчащей из пальто шее Ким Андреича от возмущения натянулись складки, он схватил костюм и повернул к солнцу, так что стала заметнее мешковатость поблекшей на свету ткани, словно обиженно надувшейся, прячущей за пазухой заплесневелую слежавшуюся тень. – Вещь вообще не надеванная! Это у тебя в глазах рябит от жадности!

– Тебе, Ким Андреич, пора уже птичек кормить, место себе на том свете зарабатывать, а ты всё из-за копеек торгуешься! Хорошо, уговорил, даю половину, и по рукам.

Оттого, что Король запросто шутил над тем, о чем сам старик не мог подумать без сосущей тоски в желудке, ему становилось легко, на время верилось, что над смертью и в самом деле можно посмеяться, а за это не жаль было и скинуть цену.

– Ладно, только для тебя. Другому бы в жизни такой шикарный костюм за полцены не отдал. Но ты ж кого хочешь уломаешь! Ты ведь без мыла влезешь! – Увеличенный стеклом правый глаз Ким Андреича хитро прищурился. – Ты ж такой клещ...я тебя знаю... – Старика

очень хотелось показать спутникам Короля, в особенности девушкам, что уж он-то знает его как облупленного.

– Ну всё, по рукам, так по рукам. Договорились. Беру. – Когда хотел, Король быстро пресекал лишнюю фамильярность. Сложив костюм в рюкзак, он отошел от прилавка, и вслед за ним тронулась вся свита. Девушки поворачивались спиной и уходили, унося с собой свою молодость, и с лица старика сползала улыбка: он уже начинал досадовать, что продешевил. Глаз в стекле очков мелко дрожал, глядя им вслед, а когда они исчезли, заслоненные другими покупателями, застыл, потускнев от привычной тоски.

– Не любишь ты стариков, – сказал как-то Королю один из членов свиты по прозвищу Карандаш. – Не жалеешь ты их.

– Почему же не люблю? – Перед кем другим Король, может, и не стал бы оправдываться и с готовностью признал: “Да за что их любить?!” но Карандаш был одним из первых его последователей, они были давние знакомцы. – Я их понимаю. Старым быть страшно. Они раньше, как и мы, думали, что умирать не им, а через много лет кому-то другому, кем они когда еще станут... А теперь всё, теперь им и больше никому, смерть уже вот она, рядышком, при дверях... Для них этот рынок – пересадочная станция на тот свет. Где еще можно задержаться, потолкаться, но недолго... А жалеть у нас тут, сам знаешь, никого не принято, жалость здесь не в моде.

– Когда-нибудь и нас не пожалеют, – невесело заметил Карандаш, испытывавший глухой полусознанный ужас перед старостью, который пытался заглушить преувеличенным сочувствием к тем, кого это несчастье постигло. – И мы ведь такими будем.

– Не знаю, как ты, а я не собираюсь. Не дождетесь. – Король поглядел на Карандаша искоса, и тому показалось, что он ухмыльнулся половиной рта.

– У тебя что, эликсир вечной молодости в кладовке припрятан?

– Что-то вроде. Ну вечной не вечной, но на отпущенный мне срок должно хватить.

– Сочиняешь?

Карандаш знал Короля давно, но так и не научился до конца понимать, когда тот говорит всерьез, а когда валяет дурака: и то и другое делалось с одинаково серьезным лицом. Вообще, несмотря на давнее знакомство, близкими друзьями они так и не стали: Король был мастером дистанции, и вряд ли хоть один из множества завсегдатаев барахолки, хваставшихся перед знакомыми дружбой с ним, говорил правду.

– И не думал. Старееет то, что останавливается, застывает, перестает меняться. Здешние барахольщики уже годам к сорока все старики. Затвердевшее трескается от времени и рассыпается, сначала внутри, потом снаружи. Ну а мне это не грозит, ты ж меня знаешь...

Карандаш знал: Король обладал способностью незаметно для посторонних, но очевидно для своих меняться с каждой новой приобретенной на рынке вещью, в которой появлялся на людях. В самостроченных клешенных джинсах и приталенном лайковом пиджаке он становился вялым, как разваренная вермишель, расслабленным, как обкурившееся марихуаны “дитя цветов”. Зато в военном френче и крагах делался подтянут, походка его обретала неизвестно откуда бравшуюся выправку, а выражения – краткость и четкость приказов. В ботинках на манной каше и стилижном пиджаке с подкладными плечами в движениях Короля появлялась упругая развинченность, скрывавшая ежеминутную готовность сбавить твист и кинуть брэк по Броду. А в белых брюках из х/б, начищенных зубным порошком полуботинках и белоснежной тенниске он становился игриво-валяжен, как обитатель дачи в довоенном Серебряном Бору или отдыхающий во “всесоюзной здравнице” на черноморском побережье. Пальто с каракулевым воротником и шапка-пирожок придавали Королю солидности застойного чиновника средней руки, речь его замедлялась, в ней возникали паузы, покашливания и такие выражения, как “не стоит торопиться”, “посмотрим-посмотрим”, “будем думать” и даже “будем посмотреть”. Но стоило ему надеть вышитую украинскую рубашку-“антисемитку”, в какой щеголял Хру-

щев, и он превращался в разбитного парня, готового с обезоруживающим простецким смехом хлопнуть по плечу первого встречного и скрепить с продавцом договор словом “заметано”.

При этом ни с одной из манер поведения Король не сливался окончательно, между ним и ею всегда оставался небольшой зазор в виде небрежности, разболтанности или избыточности, с какой она преподносилась. И каждый раз этот зазор получал разное значение: скажем, небрежность обладателя френча только подчеркивала отточенность его выправки, делала ее не уставной и внешней, а слившейся с телом, впитанной всей душой, тогда как небрежность чиновника времен застоя еще больше увеличивала его солидность и укрепляла уверенность, что всё движется само собой в нужную сторону, к исторически предопределенной победе социализма.

– Как думаешь, как у него это получается? – спросил Карандаша другой член свиты, полный флегматичный парень по кличке Бецман.

Карандаш пожал плечами:

– Понятия не имею. Но у него ведь не только это получается. Он еще много чего может...

Где ее черти носят?! Давным-давно уже мать должна была вернуться! Видно, сколько ни откладывай, всё напрасно, придется идти ее искать. Кирилл встал из-за стола, подошел к окну. В проездах между пятиэтажными домами уже зажглись редкие фонари, отчего зыбкое вещество сумерек только сгустилось и стало заметно темней. Ему еще хотелось заниматься своими делами, начистить, например, до блеска купленные сегодня медные подстаканники, но сумерки ошутимо влекли к себе, тянули влиться в них и слиться с ними, словно покидающий их последний свет, различимый пока в глухом сером небе, увлекал его за собой. Показалось даже, что этот вечер за окном притягивает его не сам по себе, а своей изнанкой, своим вторым дном, бывшим точно таким же зимним вечером, но десяти- или двадцатилетней давности, как если бы где-то среди засыпанных снегом окраинных переулков скрывался незаметный проход в те далекие вечера. Короткий промежуток между днем и ночью приоткрывал перспективу, уводящую в прошлое, и густая синева этого часа обретала свою насыщенность благодаря тому, что в нее добавлялась синева давно прошедших вечеров. Чем темнее становилось, тем больше этих канувших вечеров сгущалось в полутьму настоящего, тем дальше они были от сегодняшнего дня и тем глубже уводила перспектива сумерек в напрочь забытое, отвергнутое, никогда не бывшее, где маленький Король стоял у окна, бодая лбом зимнее стекло, и с неколебимым упрямством, забыв про солдатиков и марки, ждал мать с работы. Сумерки не уместались во времени, выходили из него, длились дольше, чем им было положено, и где-то в них, неизвестно куда и зачем, брела сейчас Марина Львовна, и как ее отыскать, было непонятно.

Кирилл поймал себя на том, что, задумавшись, барабанит пальцами по подоконнику, и сразу сжал руку в кулак. Это была привычка матери: не зная, чем заполнить паузы в разговоре с ним, она то и дело принималась выстукивать по столу или подлокотнику кресла какую-нибудь бодрящую мелодию. Всякое сходство с матерью пугало и злило Кирилла: он знал, что ее болезнь передается по наследству и у него есть все шансы пойти по ее стопам. Каждое новое проявление сходства, приближая его к ней, увеличивало эти шансы. Любая забывчивость выбивала его из колеи, представляясь первым проблеском надвигающейся болезни, и бесила так, что хотелось головой об стену биться, пока ускользнувшее имя или слово не выскочит из той щели в мозгу, где застряло. Забытое как будто делало ошутимой темную материю собственного мозга, окружавшую его вздувшейся мягкой опухолью, в которую слепо и напрасно тыкалась пытающаяся вспомнить мысль... Как жила с этим мать, оступавшаяся в забывчивость на каждом шагу?! Как жила она с мыслью, что болезнь Альцгеймера – а у нее была именно она – неизлечима и все лекарства, которые дает ей сын, могут только замедлить ее течение, но не остановить, что ее ждет неминуемое полное забвение сначала окружающего, людей и вещей, затем и себя, своего имени, прошлого, простейших функций тела? Марина Львовна знала о своей болезни, но, замечал Кирилл, как-то не могла на ней сосредоточиться, как вообще с трудом давалось ей сосредоточение на чем-либо в настоящем, спасительная рассеянность позволяла ей не думать

о болезни точно так же, как большинству здоровых людей удастся не думать о неизбежности смерти. Хотя Король и здесь был исключением – для него смерть всегда была рядом: неизлечимую болезнь матери он воспринимал как медленную смерть, понемногу выдавливающую мать из числа живых, неотвратимо проступающую в ее всё более обесмысливаемом лице, в долгих паузах, в дрожании рук, во всем... Эта близкая, такая привычная, родная смерть ни на день не позволяла ему забыть о себе, она ела с ним за одним столом, смотрела с ним по вечерам телевизор, помогала приводить в порядок вещи с барахолки, а ночью он слышал за стеной ее свистящее затрудненное дыхание. Иногда оно переходило в довольно громкий храп, мешающий спать. Король терпел, сколько мог, потом вставал, шел в комнату матери и двумя пальцами аккуратно зажимал ее крупный нос. После принятого на ночь лекарства Марина Львовна спала как убитая, разбудить ее он не боялся. В ее легких возникала череда сырых гулких звуков, с бульканьем выходящих из рта, и храп прекращался.

Кирилл отошел на пару шагов от окна, так что на лицо упал свет настольной лампы и наполненный сумерками высокий силуэт в стекле обрел цвет и объем, сделавшись его отражением. Рост, худоба, осанка – всё это было у него от отца, как и размашистые движения длинных рук и, кажется, черты лица: узкий высокий лоб, близко посаженные глаза. Сходство с отцом было определенно наглядней, тем более что именно его хотел Кирилл видеть; сходство же с матерью как будто скрывалось под ним, и его нужно было высматривать. Но стоило ему заметить его хоть в чем-то, и от него уже было не отделаться, оно проявлялось в мимике, в множестве микродвижений, размывавших отчетливость отцовских черт, в рыхлости и помятости лица. Кирилл чувствовал, что сходство с матерью глубже, оно затаилось в нем до времени, как, возможно, затаилась в нем и ее болезнь. Что, если его коллекционирование, это одержимое сохранение бесчисленных ненужных вещей, вызвано бессознательным сопротивлением надвигающемуся на него забвению? Кирилл еще раз взглянул на свое отражение, попытался ему улыбнуться – мол, не дрейфь, всё это пустые страхи, ничего еще не известно, но улыбка вышла неуверенной, явно напоминающей материнскую. Тогда он резко скривил ее на сторону, чтобы в перекошенном лице не осталось больше ничего общего с матерью. На барахолке знали эту его косую ухмылку, ею Король обычно встречал своих. Он и наголо всегда брился потому, что светлые волосы вились у него так же, как у Марины Львовны, и делали сына похожим на мать.

С восьмого этажа Кириллу были видны темные человеческие фигурки в проездах между домами; иногда та или другая напоминала ему мать, но достаточно было всмотреться внимательней, чтобы понять, что это не она. Всё, больше откладывать некуда, придется и ему превратиться в одну из этих деловито ковыляющих фигурок. Хорошо бы выйти на улицу, пока еще окончательно не стемнело. Он был почти уверен, что найдет мать, как в прошлый раз, сидящей на скамейке где-нибудь по маршруту ее ежедневной прогулки, заглядевшись на что-либо или просто задумавшись. А если нет? Придется обращаться в милицию, писать заявление, начинать розыск... Об этом даже думать не хотелось. И все-таки когда он, уже одетый, открыл входную дверь, сама собой проскользнула непрошенная и неизбежная мысль: а что, если?! Если ни он, ни милиция не смогут ее найти? Если она, нет, не попадет под машину или электричку, не дай бог, а просто исчезнет, растворится в огромном городе без следа, и никто никогда не узнает где и почему? Какая страшная тяжесть упадет с его жизни! И какая страшная наступит такой ценой оплаченная легкость! Тошнотворное предчувствие этой легкости коснулось Кирилла вместе с донесшимся из недр подъезда сквозняком, воняющим какой-то жуткой падалью или тухлятиной, пробравшим его насквозь, словно от одной только мысли об исчезновении матери в груди у него образовалась пустая дыра. Он снова закрыл дверь, немного подумал и достал из шкафа отцовский солдатский ремень. Поменял на него свой, застегнул тяжелую медную пряжку. Так-то лучше.

Вышел на лестничную площадку и вызвал лифт.

Часть II

2.

Улица, по которой она шла, совершенно определенно была незнакомой. И дело было не в низких старых домах по обе стороны – они как раз Марину Львовну совсем не удивляли, – и не в сплошном потоке машин на проезжей части, и даже не в множестве идущих ей навстречу, а в быстроте движения темных фигур по узкой мостовой, которые скользили мимо сияющих витрин, обгоняя друг друга и порождая кутерьму тени и света, бывшую непривычной ей, тревожной. Она не заметила, как успело стемнеть: когда она вышла из метро, было еще, кажется, светло, а теперь движение вокруг нее происходило в полумраке, так что Марина Львовна даже не надеялась разглядеть встречных, чтобы найти тех, кого было бы удобно спросить, как пройти к проезду Художественного театра. Несколько раз она уже пыталась обращаться наугад, но ей либо вообще ничего не отвечали, пожимая плечами на ходу, либо бросали второпях что-то невнятное, ей ничего не удавалось разобрать. Она даже не была уверена, по-русски ли те слова, которые она успела уловить. Кто вообще все эти люди, спешащие мимо нее по своим неизвестным делам? Понимают ли они ее? Она не раз слышала, что в последнее время в Москве появилось столько приезжих с Кавказа, с Востока, что настоящих москвичей почти не осталось. Что, если она сошла не на той станции и оказалась в районе, где одни эти приезжие? Что теперь делать? Как вернуться домой?! С нарастающей тревогой Марина Львовна вглядывалась в лица прохожих, и теперь уже все они казались ей восточными, точнее, на первый взгляд как будто и русскими, но стоило всмотреться повнимательней (хотя как тут всмотришься в этой темноте?!), а прохожему подойти ближе, и она сразу различала резкий азиатский скос скул, острый излом бровей или темный восточный взгляд. Чужие, все кругом были чужие, не с кем было поговорить, не у кого спросить совета! У машины на обочине зажглись задние фары, вспыхнув мутными багровыми огнями в клубах выхлопных газов и отбросив на лица идущих пунцовый отсвет, в котором они выглядели совсем уже адскими. Теперь Марине Львовне стало не просто тревожно, а страшно: что это за район такой, что за люди, где она?! Из всех сил она старалась не поддаваться подступающей панике, убеждая себя, что ни разу ведь еще не случалось, чтобы она не смогла вернуться домой. И в конце концов, эти чужие люди с поделенными между огнем и мраком лицами ничем ей не угрожают. И где-то обязательно должен быть постовой милиционер, к которому всегда можно обратиться, уж он-то наверняка ей поможет. Пытаясь успокоиться, она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как вышла на пересекающую тротуар улицу. Она очнулась оттого, что внезапно стало очень светло, и обнаружила, что стоит совершенно одна на проезжей части в бьющих в лицо лучах фар приближающейся машины. “Что же это?!” – успела еще подумать Марина Львовна, прежде чем услышала вынимающий душу визг тормозов. К вечеру подморозило и оттаявший за день асфальт покрылся наледью, по которой машина скользила, как по катку.

На улице было заметно холоднее, чем днем, Кирилл даже подумал, не вернуться ли, чтобы надеть еще что-нибудь теплое, но потом решил, что если будет идти быстро, то не замерзнет. А идти нужно было быстро: если только не повезет наткнуться на мать сразу, ему придется обыскать весь район, с одной стороны ограниченный железной дорогой, с другой – темным промерзшим парком, где не было фонарей и куда мать зимой обычно не заглядывала. Также строго-настрого было ей запрещено приближаться к железной дороге, и до последнего времени Марина Львовна этот запрет соблюдала. Но кто ж ее знает, что ей могло взбрести в голову

сегодня? Эта дорога была постоянно присутствующей угрозой, упасть на рельсы с обледенелой платформы ближней станции ничего не стоило и обычному человеку, тем более всегда погруженной в свои мысли матери, поэтому, когда проезжающая электричка затопляла окрестные дворы и проезды скрежещущим прибором своего шума, у Кирилла сами собой возникали худшие опасения. Он гнал их от себя: в конце концов, мать пропадает не впервые, и в прошлый раз ничего страшного с ней не случилось, сидела себе как ни в чем не бывало и, забыв обо всем на свете, глядела на снег, так что и теперь нет смысла изводить себя страхами без причины. Опасения отступали вместе со спадающим гулом проходящего поезда и неотвратимо возвращались с нарастающим лязгом следующего; знакомые, даже привычные, но от этого еще более навязчивые, рисуемые в воображении одни и те же жуткие картины. Защититься от них удавалось только злостью на мать, которую Кирилл в себе распалял, представляя, как она снова остолбенело глядит на какой-нибудь дурацкий фонарь или куст в снегу, бог знает почему показавшийся ей красивым, начисто забыв о сыне (если бы она о нем помнила, давно была бы дома!), рысущем из-за нее во мраке и холоде. Злость помогала, гнала прочь страхи, наполняла силой и целеустремленностью, кажется, даже согревала, но сама скоро начинала иссякать, нуждаясь в постоянной подпитке. Эту подпитку Кирилл черпал в ледяном ветре, в колющем свете фонарей, в остервенелой ругани попадавшихся навстречу пьяных (субботним вечером их было, как всегда, много), в неживом блеске слежавшегося снега, в крепчающем морозе – в темнеющем воздухе последнего часа этого дня было разлито столько злости, что недостатка в ней не было. Свора бродячих собак протрусила мимо, две псыны, что-то не поделив, сцепились в давящийся бешеным хриплым лаем клубок, отпрянули в стороны, продолжая угрожающе рычать друг на друга, дрожа от злости: пригнутые к земле головы, прижатые уши, оскаленные желтые клыки, слюна ярости на трясущихся губах.

Для начала Кирилл решил пройти по кругу, который обычно делала Марина Львовна на своих ежедневных прогулках: сначала обойти обнесенный забором большой школьный двор, затем мимо парикмахерской, мимо продуктового магазина, мимо гаражей, повернуть у табачного ларька, углубиться во дворы, дойти до залитой слепящим светом прожекторов стройки, где работа велась в несколько смен и глубоко за полночь поворачивающиеся стрелы башенных кранов нарезали ломтями черное небо над головами поздних прохожих. Если на этом первом кругу он не встретит мать, придется расширять круги, пока они не охватят весь район от парка до железной дороги. Важно не пропускать скамеек у подъездов, где, позабыв о времени, могла сидеть Марина Львовна, и еще дворы с детскими площадками: там тоже всегда есть скамейки. Главное, решил Кирилл, придерживаться определенного метода, двигаясь концентрическими кругами. Метод защитит его от бессмысленных метаний без плана, от слепой надежды на случайность, от неуверенности, возникавшей на каждом перекрестке (прямо или свернуть? направо или налево?), где ветер налетал сразу со всех сторон, высекая слезы из глаз.

На улице было светлее, чем казалось, когда он глядел из окна, но всё равно как следует можно было разглядеть только несколько ближайших прохожих, дальше они кутались в сумерки, делались мешковатыми, невнятными, почти неразличимыми между собой. В дальнем конце улицы, заслоняя друг друга, они сливались в неуклюже шевелящийся многорукий и многоногий ком, но именно там, в его сердцевине, могла находиться Марина Львовна, хотя бы просто потому, что среди тех, кого Кирилл видел хорошо, ее не было. Он ускорял шаг, достигал конца улицы, но человеческий ком, многократно изменив свой состав, успевал откатиться прочь под самый дальний и самый тусклый фонарь. Какие бы малолюдные переулочки ни попадались Кириллу, всё равно кто-то едва различимый непременно ковылял вдалеке, притягивая взгляд, так как вполне мог оказаться матерью. Дважды он принимал издалека за Марину Львовну грузные женские фигуры в похожих на ее пальто и шляпах, но по мере приближения из смутного сходства выступали отчетливые различия, разочарование увеличивало досаду и добавляло злости. Большинство скамеек были пусты и мерзло отсвечивали под ближ-

ними фонарями, изредка попадались расположившиеся на них с пивом подростковые компании, которым ни холод, ни ветер не помеха (“Молодость греет”, – с завистью думал, минув их, Кирилл), но ни разу не встретилось скамьи, где сидела бы пожилая женщина. И, делаясь неотступней с каждым поворотом, его постоянно точила мысль, что, пока он идет по одной улице, мать плетется по соседней, что он нелепо и смехотворно расходится с ней, но нет ни единой возможности оказаться на двух улицах одновременно, увидеть идущих по этой и по той. Может, напрасно он так держится за свой метод: ведь метод – это защита, а ему нужна удача, которая дается тем, кто способен отбросить защиту и довериться судьбе. Несколько раз, решив так, он сворачивал с запланированного маршрута на более людную улицу, где шансы встретить мать казались выше, или, наоборот, нырял во дворы, где было больше скамеек, – и то и другое с нулевым результатом. Шумная стая ворон пролетела над головой, добавляя темноты сумеркам – им-то с высоты видны были все улицы, все окрестные дворы и переулки одновременно, – и в их хриплом карканье Кириллу слышался издевательский смех. Его злости хватало на то, чтобы начинить ею ворон, и еще оставалось про запас. Но потом, переходя совсем небольшую, уводящую в сторону от главных дорог улицу, он заметил на проезжей части сбитую собаку – в их районе было много бездомных собак, ничего необычного в том, что одна из них нашла свой конец под колесами, не было, – Кирилл хотел было уже идти дальше, но зачем-то остановился... и как-то нехорошо вдруг сделалось. Сначала просто неприятно, а потом совсем нехорошо, будто вся злость, дававшая ему силы, вдруг его покинула. Без нее он обмяк внутри и, кажется, даже забыл на минуту, куда идти дальше и зачем. Стоял и смотрел, как к трупку собаки опасно подпрыгивает боком ворона и, наклонив внимательную голову, ковыряется клювом в разорванном животе. Еще несколько тяжелых черных птиц били крыльями среди веток ближайших деревьев. Не то чтобы Кириллу так уж вдруг жалко сделалось псину, он даже подумать об этом толком не успел, но сразу почувствовал, что то, что он видит, имеет к нему отношение, вторгается в его жизнь. Словно вороний гай раздирал с треском невидимую завесу, отделявшую его от окружающего, и оно приближалось, обнажая свою суть, надвигалось на него, обступая со всех сторон и не отпуская: задранная кверху оскаленная маленькая пасть и открытый глаз мертвой собаки, залитый черным и красным асфальт под ней, гулкое хлопанье птичьих крыльев и треск веток над головой...

“Где ее черти носят?!” – бормотал про себя Кирилл, пытаясь расшевелить свою злость, но она вся как-то разом выдохлась и не хотела возвращаться. Осталась только растерянность и понимание, что всё зависит от случая, счастливого или несчастного, и ничего от него. И страх, что раздавленная собака подвернулась неспроста... С трудом оторвавшись от нее, Кирилл пошел дальше, но уже не мог освободиться от тревожной изматывающей связи со всем вокруг: с носящимися в воздухе обрывками музыки, ругани, визгливого женского смеха, с темными встречными фигурами, среди которых попадались шатающиеся так, будто шли не по своей воле, а несомые ветром, с силуэтами у входа в винный на углу – один из них отлепился от общей кучи, встал под фонарем и выпустил блестящую изогнутую струю... Всё это было враждебно, опасно и в то же время значительно и важно, всё имело к нему отношение, потому что везде могли скрываться знаки, которые подскажут, где искать мать. Утратив надежду на метод, Кирилл чувствовал, что удача находится в распоряжении знаков и выпадает при правильном их прочтении: пролетевшая низко над головой птица, донесенный ветром обрывок фразы или сломанная ветка дерева на повороте могли бы указать верное направление поиска, вот только неразрешимая сложность заключалась в том, что знаком может быть всё что угодно. Слепящие фары машин пронизывали его насквозь, шарили по самому дну души, ничего там не находя, точно и дна никакого не было, точно душа вывернулась наизнанку и совпала с поверхностью и всё, что цепляло глаз и слух, задевало, царапало, дергало и кололо ее. На высокий прут ходящего под ветром куста у перекрестка была надета белая шерстяная варежка – видно, ребенок потерял, а нашедший поднял и повесил, чтобы издали было заметно. Увидев ее, Кирилл

свернул, куда она указывала, и зашагал уверенней: варежка была явным недвусмысленным знаком. Он так ей обрадовался, что подумал даже, не начать ли ему собирать потерянные детские варежки. Или, например, создать коллекцию одинаковых предметов, утративших свою пару...

У него была приличная коллекция перчаток, включавшая митенки, мотоциклетные краги, вечерние женские перчатки до плеч, хирургические, рабочие, гетры для рук... А вот варежек не было. Как-то раньше не попадались. Были сюртуки, фраки, несколько смокингов, котелки, кепки, ботинки нариман – чего только у Короля не было! Желая показать гостю интересную вещь, он с неожиданной юркостью, так непохожей на его всегдашнюю расхлябанность, вскарабкивался по стеллажам под самый потолок, находил на одной из верхних полок нужный чемодан или коробку, долго вслепую копался в ней свободной рукой, стоя при этом на краю стеллажа на одних пальцах и цепляясь другой рукой, как обезьяна-паук. Найдя искомое, с той же легкостью спускался вниз. Кажется, он знал наизусть, где, на каком из десятков стеллажей, занимавших почти все стены квартиры, находится любая из тысяч вещей, составлявших его коллекции.

– И как только ты их все помнишь?! – спросил однажды, будучи у Короля в гостях, Карандаш.

– Ты же помнишь, что у тебя две руки, две ноги, на каждой по пять пальцев. И между собой их не путаешь. Так и я свои вещички помню. Они же все через мои руки прошли, все починены, отстираны, надраены, приведены в порядок. Пока с каждой вещью возишься, ты так с ней срастаешься, что она уже почти частью тебя становится. Что угодно возьми... Вот хоть эту тросточку.

Король протянул руку за прислоненной к стулу тонкой тростью, покрутил ее, легкую, почти невесомую.

– Сразу чувствуешь, что она из другого мира, где не было еще ни Первой, ни Второй мировой, ни красного, ни белого террора, ни всего этого ужаса двадцатого века. Представляешь, какими были люди, которые всего этого не знали, наверняка даже вообразить себе не могли! Они всё видели по-другому, иначе двигались, легче относились к жизни... Пока я с этой тростью возился – ты же видишь, мне ее и подклеить пришлось, и лаком покрасить, – пока я с ней возился, часть ее легкости перешла ко мне. Это само собой происходит, очень просто, иначе и быть не может...

Он слегка подбросил трость, поймал за середину и принялся вращать пальцами. Послушно сделав пару оборотов, на третьем она сорвалась и едва не влетела Карандашу промеж глаз. Отшатнувшись, он чуть не обрушил уставленную мелкими вещичками этажерку и ударился плечом о массивный шкаф, в недрах которого что-то ухнуло и задребезжало.

– Этот номер тебе еще надо подработать. Легкость есть, а вот точности пока не хватает. Того и гляди переколошматишь все свои сокровища.

– Пустяки, не в цирке же мне с этим выступать.

Привлеченная шумом, в комнату, приоткрыв дверь, заглянула Марина Львовна:

– Ничего у вас не случилось?

На ее полном белом лице кроме обычных для него недоумения и тревоги было живое любопытство: ей было явно интересно, чем там заняты сын с приятелем.

– Ничего, ничего. Всё в порядке. – Король встал перед пытавшейся войти матерью и начал мягко, но настойчиво закрывать дверь.

– Ты не помнишь, какое сегодня число?

Он назвал число, потом день недели:

– Еще что-нибудь?

– Нет... – Марина Львовна остановилась, задумавшись, очевидно, ища, что бы еще спросить. Не найдя, решила сделать вид, что уходит по своей воле. – Пойду обед греть. Вы обедать будете?

– Да, спасибо. – Король обернулся к Карандашу. – Ты как насчет обеда?

Тот согласно кивнул и сразу почувствовал себя неловко, будто этим кивком помогал Королю выставлять мать. Когда она ушла на кухню, они некоторое время молчали: вернуться к прежнему тону разговора было нелегко. Король извлек из-под кровати набитый разной мелочевкой саквояж и принялся сосредоточенно перебирать ее, наводя порядок: что-то раскладывал по коробкам и ящикам, что-то оставлял для чистки, предложил Карандашу заценить набор довоенных поздравительных открыток. У Карандаша вертелся на языке вопрос о состоянии Марины Львовны, хотелось спросить, как живется Королю с больной матерью, но это была запретная для всех членов свиты тема. Они могли говорить об этом между собой, но сам Король обычно избегал таких разговоров, так что о болезни Марины Львовны Карандаш знал только из его редких и случайных обмолвок. Похоже, и сейчас Король подсунил ему открытки, чтобы отвлечь от разговора о матери. Возможно, подумал Карандаш, всё это коллекционирование, требующее систематизации и постоянной концентрации внимания, служит Королю прежде всего защитой от хаоса материнского безумия, грозящего вторгнуться в его жизнь. А может быть... Может, это и есть оно само – наследственное безумие, незаметно прорастающее в нем, с которым Королю удастся пока справляться, битком набивая его пасть старыми вещами, подчиняя его порядку бесконечных коллекций. Нельзя же, в самом деле, собирать всё! Каждый серьезный коллекционер всегда сосредотачивается на чем-то одном либо на вещах одного какого-то времени, и только Кирилл Король не знал в своей страсти никаких ограничений, не ставил себе ни хронологических, никаких иных рамок. Это всегда казалось Карандашу подозрительным. Порывшись в саквояже, Король достал оттуда потемневшую медную рюмку и принялся натирать ее специальной тряпочкой. Делал он это с сосредоточенностью, которая походила уже на ярость, то и дело поднося рюмку к глазам, чтобы лучше разглядеть, и, хотя со стороны на ней не было видно больше никаких следов темного налета, снова принимался тереть ее с удвоенным усердием.

– Ты не представляешь, сколько со всем этим возни! Сколько времени и сил это забирает! А тут еще заказов накидали: одному одно найди, другому другое, третьему вообще советский агитфарфор подавай! Зачем ему, спрашивается, агитфарфор?! Ему, судя по роже, из жестяной миски тюремную баланду хлебать полагается, ан нет – достань ему агитационный фарфор, и всё тут!

– Ну это же твой хлеб, в конце концов. Что бы ты без этих заказов делал? И потом, не одному тебе независимо от времени хочется жить. Много есть желающих.

– Слишком много!

Приоткрылась дверь, и Марина Львовна позвала на кухню обедать.

– Слишком много, – продолжал Король за едой, – это просто эпидемия какая-то!

Марина Львовна убежденно кивнула, подтверждая слова сына. Он взглянул на нее и отвернулся, ничего не сказав.

– Всегда ведь были люди, которые хотели из своего времени сбежать. Естественное, по моему, человеческое желание. Я знал таких, кто не слушал музыку, написанную позже семидесятых, и таких, для кого всё кино закончилось в двадцатом веке, дальше ничего интересного уже не было, одни повторы...

Карандаш говорил, обращаясь к Королю, но тот был занят супом, тогда как Марина Львовна, прекратив есть, внимательно на него глядела, и получалось, будто он говорит всё это ей. В ее взгляде было согласие с каждым словом, несколько раз она кивала, словно тоже знала людей, о которых рассказывал Карандаш, а едва он прервался, с безукоризненной вежливостью спросила:

– Вам нравится суп?

– Да-да, замечательный, большое спасибо... Людей, для которых вся настоящая литература была написана в девятнадцатом веке, тоже всегда хватало.

– Это были одиночки, первые ласточки. Теперь пошли заказчики, которым не просто старые пласты или, там, книги подавай, они теперь хотят полностью среди вещей, скажем, из шестидесятых жить, чтобы и мебель, и обои, и одежда, и музыка, и всё прочее – из одного периода.

Спеша закончить с едой, Король торопливо, ложку за ложкой отправлял в рот горячий суп, пока пристально за ним наблюдавшая Марина Львовна не сказала:

– Ты сначала доешь, потом говори, а то обожжешься. Когда я ем, я... что?

Эти слова так явно обращались к Королю, каким он был лет двадцать, а то и больше назад и для Марины Львовны, судя по всему, ничуть не изменился, что Карандаш почувствовал себя выключенным из времени, застывшего на этой кухне между матерью и сыном, где одни и те же фразы могли повторяться бесчисленное количество раз, не утрачивая своего значения.

Король сделал вид, что не заметил слов матери:

– И это не один какой-нибудь чудик, а целые компании. Представляешь?! В гости друг к другу ходят – из шестидесятых в семидесятые, из семидесятых в тридцатые.

Но Марину Львовну было так просто не сбить:

– Когда я ем, я... что?

Она вовсе не хотела на самом деле заставить сына замолчать, ей нужно было, чтобы он ответил ей, чтобы отозвался тот нетерпеливый и странный ребенок, всегда норовивший поскорее сбежать из-за стола и вообще от людей к своим коллекциям, которого она по-прежнему в нем различала.

У Короля точно парализовало обращенную к матери половину лица, а другую скривила нехорошая улыбка, и все-таки он продолжил:

– Я уже не говорю про тех, кто славянскую старину восстанавливает и квас из жбана хлебает, этих всегда было не счесть.

– Когда я ем, я... Я что?

– Я глух и нем! – не выдержал Карандаш.

После обеда вернулись в комнату Короля, Карандаш сел в старое кожаное кресло с протертыми подлокотниками, и разговор продолжился.

– Мне кажется, эта тяга сбежать из своего времени так распространилась потому, что будущего не стало. Раньше ведь верили, что в будущем всех ждет что-то совсем другое, новое, чего никогда прежде не было: коммунизм там, полеты в космос, освоение иных планет... Я точно помню, в детстве многие взрослые вокруг меня в это вполне серьезно верили. А теперь ясно, что дальше ничего уже не будет, то есть будет всё то же самое, теперь даже коммунизм остался в прошлом. В будущее людей загоняет государственный проект, будь то освоение космоса или социализм в отдельно взятой стране. Обычному человеку это вроде бы до лампочки, но страна в целом должна куда-то двигаться, и он двигался вместе с ней. А теперь всё это рассыпалось, наш проект свернули, и у людей не осталось ничего, кроме прошлого. О будущем им даже думать не хочется, потому что в нем будет всё, что уже есть, только гораздо хуже: ведь сами они станут старше. – Карандаш говорил спокойно, почти равнодушно, будто его самого это совсем не касалось, только под конец пробился на поверхность его всегдашний страх перед старостью, и голос сразу зазвучал по-другому, а сам он отвернулся к окну, за которым шли над крышами тучи и вместе с ними, замершее в комнате Короля, законсервированное в коллекциях и плесневеющее в собраниях всевозможного старья, продолжало идти время.

– А ты заметил, сколько расплодилось фильмов, где какие-нибудь олухи в прошлое проваливаются? Куда кто хочет, туда и проваливается. Кому героизма не хватает, попадает на

войну, кто по советской самоотверженности тоскует, оказывается в конце сороковых, когда страну восстанавливали, кому нужна искренность и свежесть чувств, тот в шестидесятых под июльским дождем мокнет, кому революционную романтику подавай, тот в двадцатые норовит. Меня на эти фильмы теперь то и дело консультантом зовут. Или вещички у меня просят, какие им по сценарию нужны. Я даю, жалко мне, что ли? – Расположившийся на диване Король пожал своими узкими плечами, точнее, одним, левым плечом, отчего яйцо его голой головы склонилось набок, и, словно стремясь компенсировать этот перекося, на губах возникла кривоватая усмешка. – Ну не бесплатно, конечно, даю. Но по очень гуманным расценкам.

– Меня еще вот что удивляет: о прошлом ведь, по идее, старики должны думать, которые до будущего всё равно не дотянут, будущее – оно для молодых. Так нет же, теперь молодые ностальгируют по временам, когда их еще и в помине не было!

– Всякий человек в конце концов выпадает из своего времени, – меланхолично произнес Король, – кто раньше, кто позже. Если только прежде этого не выпадает из жизни. Может, уж лучше заранее... подстелить, так сказать, соломки...

– Я это только тем объясняю, что всё наше будущее осталось в прошлом. И чтобы вновь открыть для себя будущее, надо сперва вернуться назад.

Карандаш был из тех, кому нужно было всё объяснить себе и другим, Король же объяснений не любил, по большей части не верил им, поэтому сказал:

– Это твоё “наше будущее” – рациональный левый проект, высосанный из пальца: всегда, во все времена он был химерой и никогда не удавался. В это будущее люди должны маршировать стройными рядами, а люди не хотят маршировать рядами, при первом удобном случае они норовят сбежать из рядов и поодиночке улизнуть в прошлое. Потому что прошлое у каждого в душе, к нему влечет неистребимая сила ностальгии – живущая в любом человеке сила сопротивления диктатуре времени.

– Да какая там сила сопротивления! Всё это мутная правая мистика: обращение времени вспять и всё в таком духе. Бессознательная тяга обратно в материнское лоно. Ностальгия – это болезнь, исподволь подтачивающая силы, лишаящая вкуса к реальности, принуждающая жить в несуществующем мире! А ты, между прочим, зарабатываешь на этой болезни, как врач, который вылечить не может, но всё равно продает дорогие лекарства, хотя знает, что они приносят только временное облегчение.

– Лекарства продает не врач, а аптека, – с обидой в голосе сказал Король. – А по поводу тяги в материнское лоно ты что-то совсем уже загнул... У нас вся страна по СССР ностальгирует, что ж, она вся, по-твоему, в материнское лоно стремится?

Он взял медную рюмку, поглядел, прищурившись на свет, и стал снова натирать ее с таким видом, точно это занятие было единственным, что его интересовало.

Карандаш и сам почувствовал, что про тягу в материнское лоно говорить не стоило. Всё остальное можно, а вот этого не надо было. Поэтому продолжил примирительным тоном:

– У меня самого, как, наверное, и у каждого, бывают дни, когда, кажется, всё бы отдал, чтобы хоть на день куда-нибудь назад улизнуть. Лучший из дней в настоящем обменял бы на худший в минувшем и ни секунды б не пожалел. В такие дни у меня даже что-то вроде надежды возникает, что где-то и, может, совсем даже рядом должна быть щель, сквозь которую можно в прошлое проскользнуть. Не может ведь быть, чтобы это чертово время было совершенно сплошным и непроницаемым, без единой трещины! С тобой такого не бывает?

Король с подчеркнутым равнодушием пожал плечами:

– Не припомню.

Достал из-под дивана коробку, доверху набитую обувью, из нее – пару сплюснутых штиблет, за ней еще одну, сунул руку в ботинок – палец вышел через дырку наружу.

– Ты сам-то знаешь, сколько у тебя тут обуви хранится? – спросил Карандаш.

– Пар триста, наверное, наберется. Что, много? По-моему, в самый раз. – Когда разговор зашел о коллекции, Король сменил гнев на милость. – Можно всю историю нашей страны через историю обуви представить. Запросто. У меня с обувью вообще особые отношения. Я тебе не рассказывал, как я впервые на барахолку попал?

– Вроде нет.

– Я себе ботинки не мог найти. У меня же ноги разного размера, правая на полразмера больше левой. Такое редко, но случается. Очень редко. Мне подходящую обувь в магазине практически не купить, то жмет, то, наоборот, велика. Я прямо измучился, не знаю, сколько магазинов обошел, пока не догадался, что мне только разношенная обувь годится. Умные люди подсказали: ты съезди на Тишинку – тогда еще старая Тишинка была. Так я впервые там и оказался. Приехал за ботинками, и сразу, конечно, глаза разбежались, столько там всего интересного можно было найти. И все за бесценок... Никогда с пустыми руками не уйдешь.

– А ты не боишься, что когда-нибудь твои коллекции тебя под собой похоронят? – Карандаш оглядел стеллажи до потолка с чемоданами, коробками и ящиками, делавшие комнату Короля похожей на камеру хранения. – Что ты зароешься в них с головой так, что уже не сможешь выбраться?

– Может, и боюсь... А что делать?! Кто-то ведь должен это всё сохранить! Кто-то должен оценить, понять, прочувствовать неповторимость вещей, каких больше уже не будет, в которых время, которое тоже никогда не вернется! Что делать, если люди так глупы и слепы, что единственные штучные вещички, считай, задаром отдают?! Как я могу не взять? Кем я тогда буду? Таким же идиотом, как они?!

– Что-то сдаётся мне, – не смог удержаться от упрека Карандаш, – что ты вещи больше, чем людей, любишь...

– Ну почему же? Совсем не больше. Можно и людей коллекционировать. Хотя это не мой профиль. С человеком никогда до конца ничего не поймешь, на языке у него одно, на уме другое. То ли дело вещь? С ней с первого взгляда всё ясно. Человек ненадежен, сегодня он за тебя, а завтра, глядишь, уже против, только вещь, честняга, никогда тебя не предаст. А главное, человек ведь здесь совсем ненадолго, его собственные вещи, как правило, его переживают. И потом, каждый человек сам по себе коллекция... – Король отвернулся от Карандаша и продолжил разбирать коробку с обувью, кажется, демонстрируя этим, что Карандаш как представитель человеческого рода интересуется его меньше старых ботинок.

– Это как это? Почему каждый человек – коллекция?

– Ну, каждый же состоит из того, что им в случайном порядке скоплено за жизнь: встреч, событий, идей, принципов. Из прочитанных книг, увиденных фильмов и так далее... Всё это перемешивается, лепится одно к другому по большей части довольно бестолково, на удачу – и получается характер. Неповторимая, понимаешь ли, личность. А у меня здесь всё по-другому: все мои коллекции упорядочены, вещички в них отобраны, любая случайная находка попадает в ряд, включается в систему. Правильная коллекция, по сути, отменяет случайность. В отличие от человека – коллекции бессистемной, неупорядоченной...

В этот момент дверь в комнату открылась, и Король прервался, подняв глаза на мать – возникшую на пороге грузную фигуру в переднике, в слепо отсвечивающих очках на полном лице.

– Вы обедать будете? Я уже всё нагрела...

Кирилл молчал, Карандаш тем более, поэтому Марина Львовна повторила несколько менее уверенно:

– Всё на столе, остывает...

И, начав уже подозревать, что что-то не так, изменившимся голосом:

– Вы идете или нет?

– Обедать? Спасибо. – Обычно подвижное, лицо Кирилла застыло, на нем двигался только рот. – А что у нас на обед?

– Да всё как всегда, – почувствовав неладное, Марина Львовна стала говорить, как бы оправдываясь, хотя еще не поняла, в чем ее вина. – На первое овощной суп, очень вкусный, на второе...

– Овощной суп – это чудесно. Чудесно... – Кирилл сделал паузу, собираясь с духом, прежде чем продолжить. – Вот только еще часа не прошло, как мы пообедали. И ты вместе с нами.

– Да? И я вместе с вами? – Марина Львовна растерянно улыбнулась. – Ну ладно... Тогда конечно... Неужели я тоже обедала? – Она как будто еще на что-то надеялась.

– Да, и ты тоже.

Вышла в задумчивости, прикрыла дверь.

– Вот так и живем, – сказал Король.

И больше ничего не сказал, вернулся к коробке со штиблетами.

Дверь отворилась снова.

– Я забыла, как это называется? Ну то, чем я болею?

– Ты отлично знаешь, я много раз тебе говорил.

– Нет, не говорил.

– Говорил, ты забыла.

– Ну скажи еще раз. Последний. Я больше не забуду, честное слово.

– Ты напрягись и вспомни. Ты просто ленишься напрягаться. Всё от лени.

Лицо Марины Львовны на минуту замкнулось, ушло в себя в попытке справиться с памятью, конечно, напрасной.

– Ну подскажи... На какую букву?

– На “а”.

– На “а”? А... а... а...

Повторяя единственную букву, Марина Львовна переводила взгляд с сына на Карандаша и обратно, будто надеялась прочесть название болезни на их лицах, ожидая еще подсказки, хотя бы намека.

– А... а... а...

Карандаш по примеру Короля молчал, но с каждой секундой это давалось ему всё труднее, слово застряло, как кость, у него в горле, и вытолкнуть его, раз Король это слово не произносил, он не мог.

Марина Львовна улыбалась, словно это была шутка, словно они вдвоем ее разыгрывали.

– А... а...

– Это мы тебе мешаем сосредоточиться, – сказал наконец Кирилл. – Иди к себе. Иди, подумай.

Она послушно ушла. Но не прошло и минуты, как вновь возникла на пороге комнаты, рывком распахнув дверь настежь.

– Знаешь, как это называется?! Знаешь как?! Это называется издевательство над больным человеком! – Ее трясущееся лицо всё вспотело от возмущения. – Натуральное издевательство! Это ты специально, чтобы посмеяться надо мной. Чтобы на смех меня перед чужим человеком выставить! Негодяй! Предатель! Я его растила, столько сил на него убила... Предатель!

Кирилл вскочил с дивана со старой штиблетой в руке.

– Ну что ты, что ты... Кто над тобой издевается? Просто нужно хотя бы пытаться вспомнить. У тебя болезнь Альцгеймера, ты же прекрасно это знаешь.

– Конечно знаю. А если и забыла, что в этом такого?

– Ничего, конечно, ничего.

– Подумаешь, забыла! Как будто ты никогда ничего не забываешь!

- Само собой, забываю. Ты не волнуйся. Иди к себе, успокойся. Мы тут о своем...
- Издевательство! – Ушла, хлопнув дверью напоследок.

Кирилл повертел в руке штиблету, словно недоумевая, зачем она ему, отбросил в угол. Или, скорее, уронил в направлении угла – руки его, кажется, не очень слушались. Лицо, прежде туго обтянутое кожей, утратило резкость черт, как-то одрябло и расплылось, а глаза застыли во взгляде в одну точку. Неловко подогнув ногу, сел на диван.

– Это с ней бывает. Бывает. Вообще она обычно спокойная, – было похоже, что этими словами он успокаивал сам себя, – но иногда случается...

Карандаш почувствовал, что теперь он может наконец спросить:

– Тяжело тебе с ней?

– Ничего... ничего... Ей тяжелее. Хотя кто знает? – Кирилл пожал плечами, левое вновь оказалось выше правого, но улыбки, чтобы уравновесить кривизну, в этот раз не было.

– Живем... А куда денешься?

Если верно было предположение Карандаша, что коллекционирование служило Королю защитой от материнского безумия, то внезапная вспышка ее гнева разом смела эту защиту, сделала бесполезной, и теперь Кирилл блуждал потерянным взглядом по стеллажам и полкам с таким видом, будто забыл, для чего ему всё это нужно. Взял рюмку, с которой счищал налет, покачал в пальцах, словно надеясь восстановить касанием ее назначение и смысл, отставил. Карандашу хотелось как-то поддержать друга, но Король никогда и ни у кого не просил поддержки, и Карандаш не знал, что ему сказать, как поступить. Да и что здесь скажешь... Он повернулся к окну, поглядел вслед проехавшей машине, вслед переходящей улицу женщине в синем плаще, и ему захотелось выйти из застрявшего в этой комнате времени наружу, туда, где оно продолжало двигаться.

Карандаш получил свою кличку не за худобу и высокий рост и не за сходство с популярным в незапамятные времена клоуном, с которым у него и подавно ничего общего не было. Кирилл Король прозвал его так за то, что он всегда носил с собой китайский карандаш с выдвижным грифелем и то и дело что-то записывал им в один из рассованных по карманам блокнотов. Других членов свиты, в особенности девушек, очень интересовало, что он там пишет, но Карандаш никому свои блокноты не показывал. Девушки почему-то были уверены, что его записи должны иметь отношение к ним, и старались правдами и неправдами прочесть их. Они постоянно оказывались рядом, стоило Карандашу уткнуться в блокнот, подсматривали через плечо, понимая улыбались, иногда, заглядывая в глаза, решались спросить напрямую: “Обо мне, да?” Боцман поделился с Королем предположением, что Карандаш для того и карябает в своих бумажках, чтобы заинтриговать девушек. Но это было не так. Карандаш из года в год намеревался написать книгу. Он и на рынок приходил скорее ради людей, чем вещей: нигде, говорил он, не встретишь таких персонажей, как на барахолке. Тут людям уже нечего стесняться: выброшенные из жизни и разошедшиеся со своим временем, они не подчиняются больше его вкусам и модам и могут позволить себе быть собой. Он понял это в первый же раз, как попал на Тишинку и увидел за прилавком старуху в малиновом парике, которая ковыряла пальцем в разинутом рту, пытаясь поставить на место съехавшую вставную челюсть.

– Да брось ты, Матвеевна, не мучайся, – подначивал ее тощий старик с прозрачным цыплячьим пухом вокруг лысины, сидевший рядом со своим товаром на прилавке напротив, болтая, как мальчик, не достающими до земли ногами. – Зачем тебе зубы? Я тебя без зубов только больше люблю! И тебе меня любить сподручнее будет. Зубы – они только мешают. А то еще откусишь мне че-нить... от избытка чувств. – Развеселившись, старик еще быстрее заболтал ногами и ударил пяткой по прилавку.

– Да было бы что откусывать! – отвечала, справившись с челюстью, Матвеевна. – Не смеши!

“Любопытно”, – решил про себя Карандаш. Человеческие жизни безо всякого стыда выворачивались здесь наизнанку, вываливая на прилавки или просто на расстеленные на земле клеенки свое уцененное содержимое. И еще одно влекло его на барахолку: здесь он лицом к лицу встречался со старостью, которой боялся, кажется, столько, сколько себя помнил, всматривался в морщинистые, скомканные, изуродованные временем лица и видел, что они продолжают смеяться беззубыми ртами, сквернословить, жульничать и торговаться за каждый рубль, застряв на этой “пересадочной станции на тот свет”, как называл барахолку Король. Старость казалась Карандашу такой же загадочной, как детство: оба возраста не подчинялись тем незамысловатым и по большей части очевидным мотивам, которые управляют жизнью между ними, но если загадка детства притягивала, то старости – отталкивала и ужасала.

– Ну что, Витюха-заткни-за-ухо, футбол вечером смотреть будем? – кричал один старикан другому, тугоухому, за соседним прилавком.

Тот улыбался в ответ мягкой улыбкой и неопределенно кивал, толком, похоже, ничего не услышав.

“А я? – думал Карандаш. – Чем придется мне занимать вечера, когда я стану таким же, как эти? К футболу я равнодушен, сериалы не выношу, кроссворды тоже... Писать? Ну-ну”.

Он уже не раз пытался начать задуманную книгу, но сложность, которую ему никак не удавалось преодолеть, заключалась в том, что всё, написанное им утром, к вечеру казалось Карандашу никуда не годным, а всё, что он писал вечером, выглядело совершенно никудышным на следующее утро. Похоже было, будто в нем обитают два разных человека с противоположными вкусами, утренний и вечерний, неспособные достичь согласия, и каждый из них, придя к власти в отведенное ему время суток, забраковывал работу, сделанную другим. Даже по такому простому вопросу, как его собственный возраст, их взгляды расходились. “Мне тридцать два, – думал Карандаш с утра, – самое подходящее время для начала, всё еще впереди”. А вечером в голове стучало: “Мне уже тридцать два, лучшая часть жизни прошла, а я так ничего и не сумел – поздно трепыхаться”. Он был старше всех остальных членов королевской свиты, но гораздо младше большинства продавцов барахолки. Вглядываясь в их лица, слушая их разговоры, он всякий раз черпал из них для себя что-то вроде надежды: раз они живут как ни в чем не бывало, может быть, и у него получится.

Во второй половине дня, ближе к закрытию рынка, из-под прилавков доставались поллитровки или четвертинки, распивались первые стопки, и старики, и без того разговорчивые, становились назойливыми. Им необходимо было найти кого-нибудь, кому они могли бы рассказать, как шестьдесят лет назад ходили в Парк Горького прыгать с парашютной вышки или смотреть первый телевизор, как хорошо жилось под немцами в оккупации, если бы не партизаны, и как в сорок пятом в Германии за банку тушенки можно было поиметь молоденькую чистую немку. Блокноты Карандаша были полны записанных мелким почерком рассказов о том, как чифирили на зоне и играли на тототшке, мотали срока и брали Халхин-Гол. Еще любили старики поговорить о большой политике, о Сталине и Хрущеве, которого отец народов бил в сорок первом своей трубкой по лысине за то, что тот хотел сдать Москву немцам, а Хрущ отомстил ему на двадцатом съезде разоблачением культа, о Ленке Брежнев и его веселой дочери, заколдованной фокусником Кио, о Горбаче и его Раисе, об Эльцине, продавшем Россию этому... как бишь его? Шарону! Точно тебе говорю – Шарону! Зуб даю! Карандаш носил блокноты в карманах брюк, отчего они рано или поздно рассыпались, их страницы путались, а истории перемешивались между собой, сливаясь в одно многоголосное повествование, в единый рыночный хор – матерящийся, божасьийся, сплевывающий, бьющий себя в грудь, надрывающий голосовые связки и в конце концов захлебывающийся мокрым безнадежным кашлем.

– Давай-давай, записывай, – говорил Карандашу Король. – Вот она, история – не в книжках, а здесь, на барахолке, живая, настоящая, не закатанная под асфальт. Ее не проведешь!

Кряхтит, шамкает, на ладан дышит, а всё равно всё про всех знает! Только про меня не вздумай писать.

– Это почему?

– Знаю я вас, писателей... Дело даже не в том, что врете. И не в том, что врать не умеете, так что, кому надо, меня всё равно узнают. Дело в том, что, сколько бы вы ни пытались с вашими книжками в будущее пролезть, всё равно они остаются свидетелями своего времени, намертво к нему припиленными. А я не хочу к этому времени припиленным быть! Я ему ничего не должен. Оно мне не указ! Я вам не герой вашего времени! Правильно я говорю, Михалыч?

Поросший неровной седой щетиной пожилой мужик за прилавком с готовностью заулыбался дряблым ртом, довольный, что Король к нему обратился, хотя вряд ли слышал, о чем он говорил. Его глубоко посаженные, дикие глаза, прежде смотревшие в никуда, проснулись и засияли.

– Конечно правильно! Я всегда говорю, ты вообще самый правильный здесь человек. Правильнее тебя и быть никого не может! У меня для тебя тут, кстати, припасено – я помню, ты таким интересуешься.

Михалыч достал из сумки носовой платок, на котором шариковой ручкой была нарисована толстая русалка с кукольным лицом и круглыми удивленными глазами, вокруг нее завивалась колючая проволока, а позади вставали церковные купола и кресты.

– Марочка... Красиво?

Король кивнул с видом знатока, разглядывая расстеленный на прилавке платок:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.